



Новелла
Матвеева
**СТРАНА
ПРИБОЯ**



*Новелла
Матвеева*

**СТРАНА
ПРИБОЯ**

*Книга
стихотворений*



*Москва
«Молодая гвардия»
1983*

84Р7
М 33

Художник
Ю. Косачевский

М $\frac{4702010200-198}{078(02)-83}$ 218-83

© Издательство «Молодая гвардия», 1983 г.

*Светлой памяти
отца моего
Николая Николаевича
Матвеева-Бодрого*



КУВШИНКА

Все цветы — на первый слух — молчат:
Там, в лесу, и дальше, за ручьем...
Все цветы — на первый слух — молчат,
Если их не спросишь ни о чем.

Да, но ветер, пчелы и роса,
Чуть касаясь их раскрытых ртов,
Кажется, любые голоса
Могут сделать голосом цветов.

Но кувшинка молчаливей всех!
Сколько ни стою на берегу,
Но кувшинка молчаливей всех —
Я ее услышать не могу.

Горло ль ей сдавила глубина?
Тайна ль тайн под ней погребена?
Но кувшинка — молчаливей всех:
Все поют, молчит — она одна!

Я плутала у тяжелых вод,
Я старалась к ней найти подход —
Все напрасно!
Полчище болот,
Как на грех, кувшинку стережет!

Полчище болот-бородачей,
Скопище чудовищных ночей,
Сонмы сов, бессонных, как на грех...

Ах! Кувшинка — молчаливей всех.

ХВОЩ

В лесу, где изредка пересекала птица
Деревья, полные роптания и смут,
В унылых сумерках, предвосхищая пруд,
Хвощ полупризрачный мне вдруг решил явиться.

И превратил меня почти что в духовидца,
Представ передо мной столь тонок и столь худ,
Что усомнилась я: он тут или не тут?
Но он, входя, уже не мог остановиться.

Уже он брал мое терпенье на измор;
Он изводил меня уже занудством чистым,
Томил количеством, пустым и водянистым...
И вот уж с трех сторон, как войско тускарор,

Он тек... Мне слышались обрывки воплей тонких,
И перья реяли на острых головенках...

ЦВЕТЫ

Голос трав неизвестен наукам,
Голос трав и тишайших цветов;
Пораженный привычки недугом,
Всяк лишь громкого слушать готов!

Иван Киуру

О цветы в зеленом оперенье!
Словно звезды влажного огня
В раскаленной свежести цветенья
Прямо с листьев смотрят на меня.

Чуткий нрав, на муку обреченный
И на вещи утонченный взгляд
Только-только в них открыл ученый,
А поэт... семь тысяч лет назад.

Всяк цветок — нам говорит наука —
Чует фальшь, тоску, дурной азарт,
Ищет в песне родственного звука,
Морщась болью в грохоте поп-арт.

Страждет до последнего изгиба,
Падая как будто в кипяток,
Сорванный не той рукою либо
Не тому подаренный цветок.

Как поэта, его ранит больно,
Никогда терзать не перестав,
Снимок зла, им созданный невольно,
Тайно отраженный на листах.

Кто при них унижен? Кто обманут?
Уж на листьях запись тут как тут...
Вот зачем они так быстро вянут,
Вот зачем так скоро опадут!

Отольется, братцы, все на свете!
Где-то на неведомой черте...
Ну так что ж? Семи тысячелетий
Не пройдет — и мы отыщем — где!

Но певец так долго ждать не хочет:
Знал допрежде, знает и теперь:
Оборвали Аленький Цветочек —
Грянул гром, поднялся темный зверь...

Зверь лесной ли, чудо ли морское
Вновь вернется дерзких проучить,
Вряд ли снова сыщется такое
Сердце, чтобы гнев его смягчить!

Сказку вспомнить все еще не поздно.
А теперь, кто хочет — пусть опять
Скажет нам, что сказка несерьезна
И что грех «цветочки» воспевать!

ОСЕННЯЯ ЖАРА

Бузинные листья застыли.
Поникли ромашка и клевер.
Настойчивым блеском пустыни
Облит озадаченный север.

Парнишка, босой и чумазый,
Пускает бумажного змея,
Но змей возвращается наземь,
Без ветра летать не умея.

Береза,
Блестя белизною
И зеленью дымно-зеркальной,
Под долгим мельканием зноя
Сама себе кажется пальмой.

Она как бы скована этим
Еще не раскрытым секретом,
И кажется: если бы ветер,
Она бы шепнула об этом.

Но если подыметесь ветер,
Береза шепнет не об этом;
Но если подыметесь ветер,
Береза расстанется с летом.

ПЛАКАЛЬЩИЦА

Что не плакальщица я, не причитальщица,
Не рыдальщица, сердцам не надрывальщица,
И к чужому-то я горю не привальщица,
И волос-то на головшке не рвальщица!

Не люблю я нашу плакальщицу Феклушку!
Она ходит бережливо, как по стеклышку!

Ветер — свой... И, свившись с ветром, — глянь:
скользит, меняясь в росте,
Вся в листе, отливно-светлом, как магнит,
собранный гвозди.

Так железо в переплавке, изогнувшееся яро,
Сыплет с прысканьем булавки, мягкие еще от жара...

...Вижу небо. В цельных тучах
вижу трещины-расколы.
Страх черемухи на кручах. Даль... Обрывы ярко-голы;
Их уступы, их террасы... Тень-привычку, свет-обновку...
Листьев мающейся массы перепуг и остановку.

Глохнет мира половина.
Но в молчанье, из-под сплина
Туч — увиливая явно,
Далеко бежит долина, — русло вьется своенравно...

А в заречной той слободке, где рябин красна осанка,
Где ветров порыв короткий, кровель перистая дранка,
Там, в сухом, лишенном блеска, как бельмо спящем,
крышке
Крыши крайней — вдруг (так близко!) — взмахи
молний... Даже кринки
В слободе, на кольях, кверху дном, подчеркнутые адом
Тьмы; представ огню и ветру, так видны — как будто
рядом!

К долу, к полю с лебедою молний быстрое касанье...
Над далекой слободою страх священного писанья!

И, как в детстве, все непросто: в даях гром.
Как жерла пушек,
Мрачно, грозно смотрят гнезда ласточек-береговушек!

А потому, что ведь,
по слухам,
Одетым в черное старухам
Не надобно напоминать
Про их прощанье с сыновьями!
И без того
(Мы знаем с вами!)
Вовеки сына помнит мать.

Зачем к печалям беспримерным
Нам приступать Фомой Неверным?
В незаживающее лезть?
Прости, Фома!
Но палец в рану
Я ей заталкивать не стану,
И так я знаю: рана — есть.

Молчание — не умолчанье.
И дико нам само звучанье
Разговорившихся скорбей!
Ужели истинное горе
Не в немоте, а в разговоре?
Не понимаю, хоть убей!

А ты, прости! — с какого краю
Ты подходил к войне, — не знаю!
Не может быть, чтобы связист
Или сапер на поле боя,
Увидев смерть перед собою,
Стал и напыщен и фразист,

Как не был и до встречи с нею!
Я за тебя давно краснею!
Друзей немало, может быть,
Там на глазах твоих почило!
Как даже смерть не отучила
Тебя красиво говорить?!

Теперь,
Какую ткань ни вытки,
И, наставительный до пытки,
Каких ни распиши атак,
С перстом, нескромно вверх воздетым,
Мы спросим: — Ты-то был при этом? —
Мы скажем: — Что-то здесь не так...

О, да! Покуда подрастали,
Мы смерти явной не видали:
На нас не прямо глянул Вий,
А только искоса и вкриве
(Когда в своей недоброй гриве
Мотал нас ветер дистрофий),

Но и теперь,
В семидесятых,
По мелочам и для дебатов
Тревожить павших не хотим:
Пройдем, молчание утروив.
Глубок, священен сон героев
И с суетой несовместим.

КРУГИ ЧТЕНИЯ

Читатель-чувственник, сластена любострастный,
С губами, вроде как сосущими лимон.
Лишь похождениям бредит он, злосчастный,
Но Приключения — не восприимлет он!

И вольный парусник, и в море путь опасный,
Шторм, abordаж, побег — его вгоняют в сон,
Как монотонное ворчанье дамы классной,
Оберегающей девичий пансион...

Как едко он острил (чуть не с Вольтером вместе!)
Над добродетельностью «ангелов» и «дев»!

Потрафим; подгребем к нему пригоршню бестий,
Таких же, как он сам! Но вдруг, расสวิрепев,

Он вместе с «ангельством» пиратство отмечает,
И — уж без примесей бульварщину читает!

ПЕСЕНКА ПРО ПОЧТАЛЬОНА

Едет!
Кто это едет?
Едет, держит руль без перекоса.
Едет!
Дорогу цедит
Сквозь велосипедные колеса...

Кто не пел про почтальона!
Почтальону и почет
и честь!
Птицей в сумке почтальона
Бьется радостная весть!

По садам, садам зеленым,
Видишь? — даже солнце ходит следом,
Следом за почтальоном,
За его простым велосипедом...

Кто не пел про почтальона!
Почтальону и почет
и честь!
Птицей в сумке почтальона
Бьется радостная весть!

Если ж
Дурные вести, —
Почтальона, братцы, не корите,
Только

Тем слышней нам подскажут небесные
И цветущие инеи утр:
Время света, с концов урезанное,
Уж зато беспредельно внутрь.

Нет «ненужной мечты»,
Нет напрасного сна,
И ничто не пройдет «просто так».
Души верят в свою бесконечность. Она,
Эта вера — совсем не пустяк.

И зимою, в закаты льняные,
Видит сад и предчувствует дом:
Виды времени есть —
иные,
Есть планеты — под новым углом.



II

ТАЙНА ПРАВОВ

Сто девять тайн раскрыть,
Сто зерен в землю бросить.
Перед невзгодами не опростоволосеть
И вспомнить ста вещей простые имена.

Свой у лирики и льготы и законы.
Но, жанра обойдя жестокие препоны,
Всю пестроту натур обдумать я должна.

Роман писать?

Увы!

О нем, за недосугом,
Мне разве что мечтать с восторженным испугом!
А в непослушный стих так трудно влить рассказ

О лицах без числа, как бы несомых бурей;
О тертых калачах с очами райских гурий,
О сдобах с парюю железно-хитрых глаз,

О слабонервности, о прямо голубиной
Многочувствительности молодца с дубиной:
Ты на него дыши
Сквозь паклю!

А не то удар страдальца хватит!
А ежели сам кого сплеча дубиной хватит,
То... лишь по редкому изяществу души!

Как много редкого на свете!

И как мало

Обыкновенного!

Глядеть, так прямо страх!

Ты помнишь, как в глазах у нас уже мелькало

От уникального!

Как путалось в ногах

Неповторимое!

При том, что нам с тобою

От исключительного не было отбою!

Валили, взяв разгон,

К нам —

то единственные в роде, то из ряда

Вон выходящие...

(Из ряда ль?! Молвить надо,

Что так же из дому пришлось их выгнать вон!)

О самомнения губительный маночек!

Свиненок с крыльями! Звезда во лбу козла!

Избранничество есть заскок не одиночек,

А необъятных толп несметного числа!

В какой козявке не сидит наполеончик?

Какого слизняка следок — не полигончик

Властолюбивых нужд

И титанически-плохих поползновений?

Кто не владыка сфер?

Какой дурак не гений?

Который лавочник бонапартизма чужд?

Где просто человек?

Какой пошляк не демон?

Глянь: солнцеравные уж сыплют,

как ячень...

Как будто этот мир не из молекул сделан,

А из заносчивостей всех кому не лень!

На равенство ни в жизнь дурак не согласится,
Сам хочет быть «как все», сам — на Олимп косится;
«Что, дядя, все уж там?» —

«Не все, — сказал
Финдлей».

Представь-ка лучше, брат, что в горнем царстве некоем
Жил... кто?

Да хоть портной.

Был... кем? Да
ЧЕЛОВЕКОМ!

Вот часть блаженнее, чем состоянье фей!

О Клио!

Дай мне мощь и несторов терпенье!
Дай, Полигимния,
мне силу песнопенья,
Чтоб родственную связь
Меж бомбой новенькою, вылупленной спело,
И самомненьями —
я проследить успела
И от юдольных нужд в мечтах не унеслась.

ПЕСНЬ О ЖЕМЧУГЕ

...Серебристая трава под ногой
Казалась далекой.
А ведь я на нее наступала!
Как странно наступать на далекое!
Или видеть далеким то,
на что наступаешь...

«В парке туман...» («Душа вещей», 1966)

В закате раннем
Море убегает,
Трофеями —
роняя корни трав,
И, убегая, даль отодвигает

II

Даль — всем помощник, каждому союзник.
И зримая и скрытая в цене.
Ни для кого не хуже. Даже узник
Железной маски в толще башен грузных
Полоску дали видел на стене.

И мыслил только с далью совокупно
Тень пламени в решетке фонаря.
О недоступном — всем мечтать доступно.
Кому откажешь в праве рваться зря?

А вещи рядом?
Но ведь вещи рядом
Мне только укорачивают взгляд!
Им даже лестно властвовать над взглядом
И, чуть зазнался, гнать его назад,
Назад, в глаза!
А те опять глядят!

Но вещи есть... Из дыма ли, из стали, —
Казалось бы, до них недалеко,
А весь их вид отмечен знаком дали,
Как маркой странной фирмы: «Даль и К°»!

Таинственные.
Даже если тронешь, —
Не встрепаются, не заговорят!
Глядишь на них и вместе с ними тонешь
В том далеке, где души их парят.

III

Где вяжут воду водорослей ветки,
Все пазухи подводные забив,

Где — кровь морей — проносятся креветки
В артериях течений голубых,

Где океан кидается бодливо,
Как синий бык на пурпурный платок,
На цвет зари... И по краям залива
Дымятся ребра сломанных плотов.

Но лучше всех рассказывает жемчуг, —
Бездонная росинка-водоем;
И не упомнишь, сколько он нашепчет,
Наговорит — в безмолвии своем!

Раз, например, сказал (с такой тоскою!)
О раковине, матери своей;
«Она больна, а я здоров. Я стою
Тем меньше, чем я больше стоил ей».

Или еще: «Всплыла в своей скорлупке
Жемчужина с заоблачного дна;
Дитя луны, малютка в лунной шляпке,
Большой луне была удивлена!»

Зимою, летом, осенью ль, весною,
Презрев камень, золото, дуб, орех,
Так и хожу я с книжкой записною
За жемчугом; он видел больше всех!

(Для скальда
За жемчужиной тащиться,
Как за богатством, надобности нет;
Она мне дорога не как вещица,
А как рассказчица и как поэт.)

Одно название голову закружит:
«Жемчужина»! Читай: «Я же молчу!»

«И мчу же я!» (простор!) И «Чу!», и «Вчуже» —
Перечислять я больше не хочу.

Тут столько сразу!
Радуги явление,
Ваянье облаков, закабаленье
Огня, полузавернутого в снег,
Молчание, журчанье, затопленье,
Бездонная пучина, вечный бег...

...Но ждал меня удар, почти смертельный!
Сказали мне, короче говоря,
Оценщики, что... жемчуг был поддельный,
Что он не видел дали беспредельной,
И все мне лгал про синие моря.

СОНЕТЫ ЛЭМУ *

I

Дивлюсь: как я могла, — на гребень невезенья
Ступив, томясь душой, теряя счет заботам, —
Так долго избегать чудесного спасенья,
Запрятанного впрок под темным переплетом!

Как я могла — с хандрой мешая потрясенье
И судорожный бег с насильственным полетом —

* Чарлз Лэм — английский писатель-романтик начала XIX века. Всю жизнь посвятил уходу за старшей душевнобольной сестрой, что помешало ему создать свой семейный очаг. При отсутствии личного счастья, обеспеченности, других особых удач Лэм в своем творчестве всегда оставался оптимистом. Лэм написал книгу о Хоггарте. Оказал заметное влияние на Чарлза Дикенса. Был ценителем и поклонником вещей и явлений, в его время считавшихся «старомодными» или «устарелыми». Основным в его наследии считается сборник блистательных эссе «Очерки Элии».

В тот безотрадный край пускаться за Мельмотом,
Где бездн из тусклой тьмы стоокое глазенье?!

Не грех ли: унывать и упиваться ядом
Отчаянья, когда бальзам целебный рядом?
Когда на помощь к вам рад кинуться с отвагой

Великодушный Лэм! — чьи шутки так учтивы,
Чьи слезы так чисты с их безответной влагой,
Так мужественна честь! Так часты смеха взрывы!

II

Да. Память — Ваш конек! Клячонкой золотушной
Ее прозвал бы хлыщ и выставил взашей.
Но Вы приладили рукой равнодушной
Карбункул горбунку на лоб между ушей,

Вспоив его мечтой — росой души своей!
И весел скакунок, ребячливо-послушный.
Меж тем... располагай Вы остальной конюшной —
Не предпочли бы ли Вы взрослых лошадей

В галопах дней? Как знать... Ваш выбор невелик.
Так храбро Вы пошли на подвиг Ваш семейный,
Что не осталось Вам и выбора иного,

Чем помнить, вспоминать... Как Ваш сияет лик!
Как возвышает Вас страх перед тем, что ново,
И перед прошлым днем восторг благоговейный!

III

Нет, Вы не старомодны. Не уйти Вам
В небытие! Как праведность судьи,
Как пэр, что даже с нищей был учтивым, —
Раскрытый зонтик нес над ней в дожди, —

Ваш голос жив. До Вас не дорасти
Авангардизма хитрым примитивам;
Кто первый догадался быть правдивым —
Уже тем самым станет впереди.

Иные люди мне чудны, ей-богу!
Нос по ветру держать и с веком в ногу
Вышагивать — на их наивный взгляд

Одно и то же! Мучаюсь вопросом:
Ну как так можно?! — путать ногу с носом
И все-таки стремиться в первый ряд!

IV

Обязывает музыка земная,
Небесная — покой приносит мне.
Кантат академических не зная,
Прислушаемся к песенке во сне.

Так отдыхает пахарь в тених мая
На буковом иль на вишневом пне;
Так — от фиоритуры — к тишине
Перескользнет, — опять полуемая! —

Весна... И в рощах лень... Так чуткий Лэм
Не хочет слушать музыку совсем!
Зато он слышит в громе экипажей,

В мальчишеских вечерних голосах,
Как Тёмпл молчит... А там, быть может, даже
Как полночь бьет... на солнечных часах,

На балки толстые взглянуть
и на стропила
Над залом зрительным
в неясном потолке...

День.

Вечер.

Взрослый фильм запущен.

Все до звука

Нам слышно. Но ни зги

не видно за дверьми...

Что за комиссия,

создатель!

Что за мука

Быть честного отца примерными

детьми!

Лиана дерзкая ворчит: —

Довольно глупо...

Вот!

Называется — мы дочери завклуба,

А нам от этого корысти —

ни на грош!

Но, беспокойная, как в джунглях

обезьяна,

Изобретательна моя сестра

Лиана:

— Идея! Дверь!

— Что — «дверь»?

— Идем!

— Как тут пройдешь?!

Весь мир увидит нас из зрительного зала!

— А мы — мы пробежим — и сразу за экран!

— А за экраном фильм не виден, —

я сказала.

— Еще чего?! Какой тебе сказал баран?!

В том-то и штука! Вся картина, как ни странно,

Просматривается

с той стороны экрана!

Но только движется

(уж так заведено!)

В другую сторону.

А нам — не все равно,

В какую сторону для нас

идет кино?!

Нам только бы кино увидеть,

вот что важно!

Нам этой дверью надо пользоваться

впредь...

Но дверь... не то что днем:

Она скрипит протяжно

И заставляет нас на месте замереть...

Однако шаг, другой — и мы

на сцене вновь!

Как декорации кругом трещат

некстати!

Сквозь их фанерный лес

мы крадемся, как тати,

Которым сучьев треск оледеняет

кровь...

Стой! Меж углом стены искрящимся

и краем

Экрана — мы опять на месте

замираем;

Мы видим *публику!*

Мерцают сотни глаз,

Как сонмы светляков...

Им, к счастью, не до нас;

«Кинемеханика-сапожника —

на мыло!...»

Стул всякий,
днем пустой, как выеденный
сот,

Теперь бунтующего зрителя
несет...

И все ж.
Как нам пройти,
Чтоб незаметно было?!

Но оттого и скрип,
Но оттого и гром,
И чуть не выстрелы нам вслед

на самом деле, —
Что тихо, тихо здесь
мы проскользнуть хотели,
И эха не будить,
встающего кругом...

2

Вот прошмыгнули мы
и стали за экраном.

Ура! — здесь можно жить!
Как в комнате, точь-в-точь!

Смотри-ка! В занавесе,
тучном и просторном,
Изрытом складками глубокими,
как ночь,

Облезлый спрятался диван!
А это значит —

Он в случае чего и нас не худо
спрячет;

Мы сядем на диван, а если кто
пройдет,

Натянем пыльный холст
на лица и колени

И в складках занавеса
спрячемся, как тени...

О, эта комната на сцене!
Круглый год
Свободного кино!
Отсек земного рая,
Где мы со звездами лицом к лицу!

Одна
Стена — слепой, дремучий занавес.
Другая —
Вся из поющего живого полотна!

Ах, только б не сейчас
на нас нашлась
управа!

...Когда глядишь кино,
то дверь домой — направо.

А слева — ничего впотьмах не разберешь,
(Как в брюхе у того
гиганта монумента,

Парижского слона,
где с некого момента

Еще с двумя детьми
жил некогда Гаврош!)

Но чу! — сюда идут!
Шаг слышен слева вправо...

И, как два кролика под кожей
удава,

Мы в складках занавеса
прячемся...

3

В душной тьме,
шерстистой, как горилла,
Дикий голос пел про Ниагару,
Фабрика задумчиво курила
Толстую кирпичную сигару.

Пыль крутилась, прежде чем садиться
За дома, идущие на слом,
И луна
с пустым лицом садиста,
Сдвинув рот,
стояла за углом.

Черный фрак.
Сухой цветок жасмина.
Черный плащ.
Над бровью шрам от раны.
Черные штаны.
Такая мина,
Будто руки всунуты в карманы.

Но... как так?
Стоять у водостока,
Привалившись к ящику,
и вдруг...
Оказаться где-то так высоко!
Так далеко!
В воздухе... Без рук...

О, луна!
Так скоро нас покинуть!
Черный плащ оставить в черной яме!
Черный фрак на росный щебень скинуть!
Нагишом уплыть над пустырями!

От земли отделаться
брезгливо,
Приложиться к облаку щекой
И уплыть!
Без пудры и без грима,
Без противной хари городской...

...То темно,
то скучно взрослым было,
«Шумно», «душно», «поздно», «грязно», «тесно»,
А у детства
только два мерила:
«Интересно» и «неинтересно».

Детство, — босоногая
элита,
Голодранец и аристократ,
Презирует неустройства быта,
А устройством брезгает
стократ.

С верой, не слепой, а лишь
наивной,
О своем мечтая высшем часе,
Бредит спешкой детство —
этот неизбывный,
Временно гуляющий в запасе,
Вечно юный полк воображенья.

...Словом,
Было бы грешно
Нам не удирать
без разрешенья
На сеансы взрослого
кино!

Вообще же дети мы как дети,
Ибо нас ведет стезя запрета.
Пусть на том — быть может, лучшим —
свете
Мать с отцом не взыщут с нас за это.

Мы незлы и лжем — почти
невинно.

(Жаль, почти не чувствуя
стыда!)

Было что-то в нас
от Гека Финна
И от Тома Сойера тогда.

...По виткам мечты многоэтажной,
Лестницей стеклянно-изумрудной
Я спешу за дерзкой, за бесстрашной,
За моей сестрою безрассудной.

Я, наверно, ей была обузой
В детства восхождении крутом...
Но она была мне
Первой музой
И сама не ведала о том.

Музой, —
потому что детству мало
Слуха одного! И мало взгляда.
Кто стихам подвержен, тем
сначала
Низкую боязнь отбросить надо!

Ни в простецких лясах,
ни в изыске
Не обрящешь нужные слова,
Лишь в бесстрашной храбрости
и в риске
Обитает тайна божества.

...Фабрика сигару докурила.
Страшных снов моих Кокстаун
черный
В свойском дыме
тихо растворила.
Я теперь гадаю: что в них было?

Только страх да слабость?
Или сила?
Грусти голос животворный?

Ночь прошла.
И, пламень свой теряя,
Как светляк при лампах
и свечах, —
Диск луны скользит
над пустырями,
Исчезая в солнечных
лучах...

4

Слова про доброту всегда чуть-чуть
фальшивы.
И даже не чуть-чуть, а сильно. Через край!
За исключением лишь неожиданно,
невзначай
Произнесенных вслух... Те — так же
справедливы,
Как справедливо то,
что доброту отца
Я буду воспевать и помнить
до конца.

Он добротой своей
был прямо заарканен!
Тянулся вслед за ним
всегда — и млад и стар:
Китайка Константин Демьяныч *,
молдаванин, —
Художник. Маленький Деросси —
кочегар.

* Молдавский художник.

Провинциальные актеры; Мигунова,
Что куталась в платки

от ветра ледяного,

Д. Протопопов — мим.

Чужой гипнотизер

(Чей нас так испугал надменный

синий взор!)...

Все, кто не знал, как быть,

Кто в чем-нибудь нуждался,

Кто денег не берет, удачи не дождался, —

Все шли к нему. И всем он помогал.

Пока

За ним не прижилось прозвание «Чудака»!

Деросси молодой

(лет двадцати примерно)

Был связан для меня

с механиком Салерно *.

Спросите: почему?

Какой тому резон?

Уж, верно, потому,

что итальянец он.

Притом же истопник.

Безмолвный,

но с веселым

Лицом — как бритый гном! —

он обитал под полом,

Наверх по временам выныривая

вдруг

И пропадая вновь...

На цирк, на ловкий трюк,

На все, к чему влеклись

все наши интересы,

Похоже было тут!

* «Механик Салерно» — рассказ Бориса Житкова о механике, который погиб, спасши всех пассажиров парохода, потерпевшего крушение.

И на страницу пьесы
С живой ремаркою:
«Проваливаясь в люк»!

В ботинках вытертых и старых,
но не рваных
И зашнурованных опрятно, до конца,
Он руки и тогда умел держать
в карманах,
Когда, «проваливаясь», исчезал с лица

Земли! И — сызнава —
с чуть сонным, но веселым
Лицом — из клубных недр
откуда-то всплывал
(Как бы сорвавшаяся водоросль,
гондолам
Спешащая под киль), —
покинув свой подвал,

Наш клубный кочегар...
Когда нам скучно было,
Когда по улице метель, кидаясь, выла
И снежный вихрь афиши старые срывал,
Нас утешала мысль,
что где-то там, под полом,
Счастливый кочегар Деросси
проживал
И что, невидимый для верхнего
народа,
Там пламень бушевал, как
в топке парохода!..

...Короче говоря, отец, всегда
сердитый
На взятки и разбой, — весь век
дразнил волков.

И с «места» не один съезжал,
 но с целой свитой
 Таких-де, как он сам,
 счастливых чудаков
 И бессеребренников чаплинского
 толка.
 Но даже и таким
 безкумым
 «кумовством»
 Его не попрекнешь!
 Работали при нем
 Не только истопник
 с художником,
 не только
 Артисты бедные, которых
 прежде знал,
 Но, разумеется, и новый персонал.
 Жорж — клубный куафер
 (всегда шалун немножко),
 Кассирша Лазарева Рая (хромоножка).
 Финашкин (красил клуб, газеты расстилал)...
 И все-то, в ком была типичного хоть крошка,
 Как тучи с отблесками гаснущего дня,
 С героями кино мешались для меня!
 Так —
 прыгать на экран
 и спрыгивать с экранов,
 Жить саламандрами
 внутри киноогня
 Могла, казалось мне
 (чуть не средь бела дня!),
 Лихая парочка фабричных хулиганов, —
 Надменный Лазарев
 и шумный Андрианов!

А с ними — вежливо-коварный
Ушаков,
Такой же хулиган.
(Но мы от вас не скроем,
Что после Ушаков пришел с войны
героем.
А облик прежнего прохвоста —
был таков!)
А тунеядец тот
(одну его примету
Я описала вслух
знакомому поэту:
Босой, но в галифе) —
был *соколовский, наш!* —
Чем я горжусь весьма!
Но так как парня скоро
В. взял в свои стихи из моего
«фольклора», —
Должна предупредить (на следующий
раз),
Что был до жалости неполон
мой рассказ.

Забыла досказать (не правда ли — растяпа?!), —
Не только в галифе,
не просто босиком
Гулял фабричный франт;
еще была на нем,
На ухмыляющемся, фетровая шляпа
И майка красная.
Цветущий, как никто,
Он был рожден для грез
и для игры в лото.

Пожалуй, только сам Деросси
мог равняться

С таким натурщиком
и состязаться в том,
Как — в летний жар — мечтать,
как подпирать плечом

Все тумбы, все углы...
(Как — сразу! —
прислоняться

И к тумбе, и к углу, и к двери,
и к стене, —

Понятно было им,
но непонятно — мне!)

Ведь, как подумаешь, — на все
нужны колумбы!

Читала я, что Билль-Белоцерковский
спал

(Давно, в Нью-Йорке), спал... внутри
афишной тумбы;

Все поражалась я: как он туда попал?

Ни окон, ни дверей
ведь нет; одни
афиши!

Предположить, что лез через
подобье крыши?

Как лезть по скользкому?

Как тумбу не свернуть?

Не зная, вылезешь ли снова, —
как заснуть?

Натурщик наш, к углам
умея прислоняться,

Добавочно к тому умел,
как тень, слоняться.

А клубный кочегар, тот недочет имел,

Что прислоняться — мог, слоняться — не умел.

Обоих было их не отлепить
от стенок.
Но в том, как протекал
их творческий досуг,
Неуловимый, — да! — но все ж таки
оттенки, —
Несходство легкое —
мы чувствовали
вдруг...

И то сказать!
Узрев двоих досужих кряду,
Иной не разберет, который тут —
филон!
— Вот, — скажет, — равные фигуры для колонн...
Мой друг! Не доверяй
поверхностному взгляду!
И разницу как раз увидишь без труда
Меж отдыхом *сейчас* и отдыхом
всегда!
Не знаю, кем из них
был презрен факт несходства,
Но в неизбежности такого антиподства
Ни Пьетро *, ни филон не видели
вреда.

Не ошибиться б, но... Зевака на зеваку
В атаку не пойдет! Столь полный
миролюб
Не как на поприще всегда идет на драку,
А как на зрелище...
Оберегая клуб,
Тихо на постах своих стбя,
Дружно понимали зеваки;

* Петр Деросси.

Кто сказал, что красивое плохо?
Только... тени-то — где же хоть
кроха?
Что-то слишком уж ярок
дневной
Свет без тени... Докучного блеска
бежит Человек-Невидимка
больной... *

Знаю: видимость — факт,
и упрямый.
Но невидимость пущей рекламой
Будоражит людские умы.
Прячься, Гриффин!
Сочувствуя, мы
Подсобим!..
Жажда сумерек,
жажда пряталок,
жажда тьмы...

Ибо время приходит в негодность,
Если рушится поочередность
Света и тени.

Свет —
Око без века.
Нет!
Выбеленный
Застенок
Голого света.

Чу! — за шварцвальдами
где-то
Вскачь,
Как тенелишенный Шлемиль,

* Беру лишь свое тогдашнее, детское понимание фильмов. —
Н. М.

Глава вторая

*

...Но кто — безмолвный тот —
герой кино немого,
Который громче всех сказал
в искусстве слово,
Смысл необъятного художества
объяв?
Кто, — тросточкой в руке
вращая церемонно,
То в «Новых временах» печальных,
то в «Огнях
большого города» — мелькал неугомонно?
Кто — в замирающего зала
полумрак —
Глядеть глазами звезд бессмертных
и собак
Бездомных — мог один?
Уж, видно, так случилось,
Что для художника
естественность —
закон.
И как Дункан плясать
у пены волн училась.
Так у бездомных псов
смотреть учился он.
И у небесных звезд! — как мы
сказали выше!
Ах! — псов и звезд родство
отвергнут нувориши,
Хотя от звезд у них и нега,
и печаль,
Но уличных щенков и кошек
им не жаль!

Сверхлюди, а хитрят!
Юлить исподтишка!

Такой душой кривить!
Ловить влюбленным оком
Звезду издалека,
Но о покинутом барбосе

одиноким
Не позаботиться — достойно
скорняка!

Скорняк! Ты к сонму звезд
хотел бы взвиться?

Эка!
Ты мнил вселенную вместить

и человека
В душе, где места нет, —
смотри! — и для зверька?

Но речь не о тебе, —
ступай себе пока...

Кто ж он, из-за кого любила
старый клуб я?

Кто жил на полотне для человеколюбья?
(Когда б таким, как он, внимал
окружный свет, —

Не знать бы нам ни войн,
ни прочих тяжких бед!)

Волнистые штаны
(подобных поищи ты!).

Ни дать ни взять — из двух
неравных юбок сшиты!

Иль... подматрасника?
О, пестрый «вкус»

бродяг!

Вот, зыблясь, он стоит,
как та былинка
в бризе;
Избыток слабости иль
ветерок коллизий
Его метет и треплет так?
Курносых башмаков носы
все время врозь,
А шляпа-котелок изношена —
хоть брось!
О нет! Под гнетом бед бедняк
не хочет гнуться,
Покуда галстук цел и чист воротничок!
Но стоит к нам спиной бедняге —
вернуться, —
Тотчас — какой-нибудь обрывок
иль клочок,
Приставший позади, как зайца
хвост короткий,
Разрушит весь эффект!
А с этакой походкой
В рай процветания и вовсе
путь нескор!
Да... Слез и хохота
с нормальной
точки зренья
Здесь непочатый край!
Но вижу до сих пор
Я обывателей холодное
презреньё
К тебе, великий
и трагический
актер!
И ни смешинки в их глазах,
и ни слезинки!

На Чарлза Чаплина идут
 как на поминки!
 Вид гениальности им скучен!
 «Вздор!», «Тоска!»
 Но роль Бродяги все ж
 так удалась актеру,
 Что зритель с деньгами
 готов ему, как вору,
 Как настоящему бродяге — дать пинка!
 Непонимание?
 Не очень безобидно
 «Непонимание» подобное!
 Суди:
 Чарлз Диккенс входит
 в дом,
 а Финчингу не видно!
 Чарлз Чаплин, —
 а ему: «Пшел вон!
 Слышь? Уходи...»
 Нет! Здесь уже не лень
 и уж не «дело вкуса»!
 Здесь ярость пойманного
 на злодействах труса,
 Здесь уязвленная амбиция;
 здесь гнев
 Не поспевающего в плутнях
 мещанина;
 Здесь боль,
 когда его понятий мешанина
 Изобличается, окрепнуть не успева!
 Он тоже входит в роль —
 сей вечный тип буржуя!
 И за бумажник свой
 тайком (пари держу я!)
 С тревожно-горестною
 складкою у рта
 Тотчас хватается...

Летит кинокартина
 На крыльях гения!..
 А нувориш — скотина
 Однолинейная! — *буквального*
 шута
 В ней видит!
 А верней — не видит
 ни шута!
 Дожиться ж до такой
 пресыщенности дикой,
 Чтобы сквозь жир —
 игры не чувствовать
великой!
 ...Но этот нищий шут
 (журналы говорят), —
 Неужто не слышал?! — не беден,
 он богат!
 Там, где-то наяву, там, за экраном где-то,
 Его плохой костюм и «затрапезный» вид
 Не значат ничего! Там, наяву, он сыт!
 Но обыватель тверд.
 Отныне не смягчит
 Ожесточенного безумца **ДАЖЕ ЭТО!**
 Считайте лопнувшим его терпенье трест!
 Сбит, больно оскорблен (в тех чувствах, каковые
 Считает лучшими!) — бросает он впервые
 Преуспеянию... протест!
 Как так?! В быту богат, но беден на экране?
 Показываться всем без фрака, без пальто?!
 Так унижать себя, когда деньга в кармане?
 Богат? Что толку в том, раз тратит не на то?!
 Зачем стремится он, как нищие, как воры,
 Все время оскорблять людей почтенных взоры?
 Кой шут, что где-то там он сколько надо ест

Уж разве что — по ходу действия — собака
Или терновый куст рванут за фалду фрака?
Но в следующий раз той дырки нет как нет

(Достоинство тряпья соблюв, дыру зашили!
Причем, должна вам сообщить, весьма спешили,
Дабы не пострадал шута *авторитет!*)

Вот я и думаю: а в самом деле: кто он?
В кривляньях строгий столь... Да точно ль комик он?
(Простак, но не дурак?

Остряк?

Бедняк?

К о л о н?)

Я спрашиваю вас: да точно ли он

К л о у н?

Сквозь шутки плоские нередко разглядишь

На гладком лбу слова: «Сверхчеловек».

«Престиж».

(Престиж, ты мне простишь?

Нет. Ты мне не простишь.)

Ах! Диву я даюсь на клоуна другого;

Страх — не любящего «достоинство» ронять!

Быть может, он король в буквальном смысле слова?

За дерзкий смех при нем, быть может, казнь готова?

Как знать...

Навряд ли он и сам успел понять,

Зачем пришел: карать, грозить или пленять?

Но только не смешить! И с истины покрова,

Как Чаплин, не срывать. (Он не такой дурак!

Вдобавок он решил, что правда несурова

И что запас проблем при Чаплине иссяк.

— Бродяга устарел! — вещает он сердито, —

Усилья не нужны. Страдание забыто.

Прочь — ветошь! Я актер устроенного быта, —
Что ж! Если даже так, —
Зачем дыра с такой поспешностью зашита?
Что так расфранчен ваш Гуляка и Простак?
Так расфуфырены Зевака и Растяпа?
Зачем — закованы во что-то вроде драпа,
Во что-то вроде лат
От головы до пят?
Подумаешь: они у вас во фраках — спят!

Решив огульно так:
При нынешнем достатке
Костюм у клоуна обязан быть в порядке,
Иначе засмеют!

Ах! Сказано не зря: «Кто хочет, тот добьется!»
Оставьте мнительность: никто и не смеется!
Зато за важность вас и за опрятность
Чтут.

Весь в новом — с иголки! — комик пришел
Для аплодисмента ярого...
Жаль! Новое только тогда хорошо,
Когда оно лучше
Старого!

*

Картинку странную я видела в наброске
По телевизору. (Блистательный урок!)
Кончину Чаплина обговорив как мог,
Рассказчик грустно смолк и выставил... «обноски»! —
Тот фрак! Те башмаки! Ту шляпу-котелок!
Но уж... без Чаплина внутри одежды этой!

Как понимать намек подобный? Посоветуй!
Ты что ж? — художнику забвение предрек?

Он — что? — по-твоему, напрасно жил на свете?
И ты уже решил, что, так как слава — дым,
Пора вывешивать его костюм — пустым?
...Как будто, перед тем как скрыться в темной Лете
И волны над собой сомкнуть навеки, — он
Преаккуратнейше сложил на парاپете
Ботинки, шляпу, трость и пару панталон!

Иль, — точно устрицу, художество глотая
И дав нам раковину чуть поосязать, —
«Вы сами видите: она была — пустая!» —
Ты нам хотел сказать?

А может быть, — как знать?! — в дозоре
непрестанном

За тряпками; стыду и жанру вопреки,
— Нельзя же, — некие взроптали добряки, —
Позволить гению уйти из жизни — рваным!
Такой авторитет и на миру большом,
Чтоб так вот и пошел? Сего стерпеть нельзя нам!
Не все же — Чаплином! Уйдите дон Гуаном,
Тартюфом правильно-опрятным и румяным...
Во все добротное одетым торгашом...
Да не держись ты так за бросовое платье!
Ты хочешь... *Чаплином* остаться?!
ТЬфу, проклятье!
Переодеться лень, — ступай, брат, нагишом!

Не так ли и возник — в аспекте неучтивом —
Его пустой костюм пред телеобъективом?

Чей трюк?

Чья логика?

Мне не постичь ее...

Дружище!

Будешь мудр, как следует усвоя,
Что чаплинское, — пусть какое-никакое,
Пусть неказистое и ветхое тряпье
Не скарб утопленника, а костюм Героя,
Одежда Гения!
Что комик без нее
Уйти никак не мог!
Как, впрочем, и остаться
Он без нее не мог: он в ней и здесь и там!
В ней, — ни в какой другой! — он здесь умел
квитаться
С чумой Просперити! —

И если

по следам

Своим, живым, фосфоресцирующим этим,
Блισταющим следам, — случилось бы ему
Вернуться, — вот кого мы «по одежке» встретим!
Не только «по уму».

*

Лохмотья не всегда есть гардероб неряхи:
То образ бедности. С другой же стороны,
Костюм художника — не панцирь черепахи:
Мы вытряхнуть его из собственной рубахи
Посмертно — не вольны.

Он знал, ЗАЧЕМ отверг одежд великолепье:
Есть честный человек в тряпье, а есть — отребье.
Все просто.
Простоте воззрений — *нет цены*.

Заметь себе и то, что рыцарские латы,
В которых с Пошлостью сражался Дон Кихот,
Ведь тоже не были ни новы, ни богаты.
Но если он от нас когда-нибудь уйдет,

Он таз цирюльника возьмет с собою тоже!
Непрезентабельно?
Не модно?
Ну так что же?!
Герой не манекен. Земля — не лавка мод.

*

Итак, не диво ли, что (сделав сборы с века
На то, чтоб малых сих никто не обижал),
Не вызывает он уже ни слез, ни смеха
У провозвестников киношного успеха?!

А помню как сейчас: фабричный кинозал
Весь — от рыдающего хохота лежал
На стульях, в общем-то неловких для лежания!
А заполняла зал... фабричная «шпана»!

Так как же объяснить, что именно она
Усвоила сюжет, проникла в содержание,
Пленилась фабулой, героя приняла,
Замысловатую интригу в толк взяла,
Желая Бедняку не краха, а победы?!
Хоть рев сочувствия был малость грубоват.
Чем снобы кислые мне это объяснят?
Чем?! Ведь не ангелы же, не искусствоведы,
Не звезды критики и не профессора
И не теперь — в конце, а в ранней половине
Столетия нашего, — ТОЛПОЙ нашли ключи
К величью гения (потерянные ныне),
И что овации так были горячи!

Нет! Не потеряны ключи!

Ключи найдутся!

Мерси! — давно нашлись.

А если кто надуться

Академическим желает индюком
Или павлином, чей блестящий вид озвучен
Так дурно; если кто решил, что в горле ком
От дивной чаплинской игры — антинаучен, —

Мы скажем: не беда! Тот бедным никогда,
Как видно, не бывал и не знал страданья,
Кого не тронули чужие испытанья,
Чужого мужества святая немота...

...Чарлз Чаплин!
Сказочный герой кино немого!
Вот мим и златоуст, чья немота,
чье слово

Спасти способны свет!
Но всяк ли выслушает рваного такого?
Из грусти сделавшего овой авторитет?

«Буржуиство мерзостно. Несчастья бедных —
драма», —

Хотели вы сказать, надев костюм бродяг.
Но Таз Цирюльника был понят слишком прямо,
И ваш костюм бродяг... был тоже понят так.

Нет! Пусть мне говорят об этом что угодно,
На образ Чаплина взирая свысока:
«Сентиментально», мол, «Нелепо», «Старомодно»,
«В эпоху джаз-машин — свирель из тростника»...

Пусть «назидателем» его считают даже...
Отныне у меня на все один ответ:
Причина нелюбви к нему — одна и та же:
ПЛОХО ОДЕТ!

...Мы уловляли Новый год задолго
До настоящего его явления
И знали: он же — год и он же — елка!
Привычка к прошлому — и обновление.

И от занудства будней
избавленье.

И он же дед, и он же — внучка!
Сцена

Открытая — и занавеса тайна...
Да: сам же дерево и сам же — смена
Времен! И в спешке — важность ожиданья.

Когда же на снега, как тени мира
Нездешнего (где всякий дюйм — отшельник!),
Ложились клинья синего сапфира, —
Всю ночь плясал в них искр алмазный пчельник!

Через сугробов дюны — гребни,
створки —
Взбирались искры ломким хороводом...
Был ярче запах мандаринной корки,
Мороз был резче перед Новым годом.

И даже завихрения поземки
Вечерней (ох, совсем отмерз мизинец!)
Похожи были чем-то на тесемки
Мешков, откуда сыплется гостинец!

Вот-вот — казалось нам — земли коснутся
Иных планет, блиставших беззакатно,
Витки и сферы... Хоры звезд проснутся...

Но убеждались мы неоднократно,
Что не должны к нам звезды приближаться:
Став ближе, время шутит как лабазник!
И чем тесней года на след ложатся,
Тем дальше Новый год от нас, — как праздник.

Но с детства недосмотренными снами
Не разлучиться нам ни в миг единый,
Ни в век единый! —
Пусть уже не с нами,
Но повторяются старые картины!

Пусть корки мандариновой дыханье
Прольется!
Пусть не брезгает так часто
Землей (как будто кухонной лоханью!)
Снежинка,
Мягкопера и глазаста!

Пусть тот морозный, хвойный, мандаринный
И снежный дух пленит все той же сказкой
Двух девочек на фабрике старинной,
На фабрике старинной, шелкоткацкой!

И — даже не звезда, а целый Млечный
Путь, полный звезд! (еще до привыканья —
Давно своих!) — пускай, Бродяга вечный,
Опять пленит нас Чаплин безупречный,
Непостижимый ЧЕЛОВЕК-МЕЛЬКАНЬЕ!

Глава третья

1

Нити новогодней канители
(Детских лет, поры полуголодной)
К высшему богатству тяготели, —
Вспыхивали тайною голкондой!

Детства золото неразменное!
Лед, в который глядится Вселенная!
Елка ростом с кометный хвост! *
Разве это не странно, не ново?

* Такая стояла в клубном фойе.

И не лучше ль богатства земного
Снег — от совсем удаленных
Звезд летящий; снег — с еще нерожденных
Звезд?!

Мы с сестрою в пристройке клуба
(Здесь наш дом, — артистический храм!)
Ухмыляемся, чуть ли не глупо,
Новогодним стеклянным шарам!

В нашей келье (мы знаем ей цену!)
В коридоре и в нише

видна

Дверь, ведущая прямо на сцену:
За той дверью — большая страна!

Разве это не чудно, не странно? —
Проскользнуть позади экрана
(Шумной публике мы не видны)
И к немому кино, что сначала
Мы уже проглядели из зала,
Приглядеться с другой стороны!

Тайной двери той слава!

Слава

Глубине ее темного зева!

Фильм, запущенный слева направо,

Устремляется справа налево!

Так чего ж и хитрей и законнее?!
Все явления для нас — двусторонние,
Все открытия брошены в рост..
Жизнь гремит, ослепляет и радует!
И тихонько над фабрикой падает,
падает

Снег с нерожденных

звезд...

О, славное кино!
 Почти невыносимо
 Счастливые часы!
 Сначала — фильм живьем,
 А после — столько слов о «Юности Максима»!
 О Шадрине! (Хорош был «Человек с ружьем»!)

«Айгуль»,
 «Далекая невеста»,
 «Трактористы»...

Все постановщики равно пред нами чисты;
 Для нас решительно исчерпанный вопрос,
 Что кинозвездочка в простом комбинезоне,
 Подобная цветку на парковом газоне,
 Подымет целину и выстроит колхоз!

Мы ценим ложный блеск.
 Нам, детям, непонятен
 Ивана Федорова подвиг.

Что с того?!

Из тех же искр кино, из танца кинопятен
 Мы вывод выведем про подвиги его.

Жаль: *искр* понадобится много!
 Жаль: не сразу
 Родиться из угля бесценному алмазу.
 Святой пример других нам, глупым, невдомек.
 Но жди: вернется он!

В час творческого рвенья,
 Как солнце, проблестит из сумерек забвенья
 Первопечатника страдальческий урок!

Пойдем опять в кино!
 К лягушке Василисе,
 К Иван-царевичу...

На древе, слышь, ларец,
В ларце яйцо,
В яйце игла (не уколися!).
В игле — Кашееву бессмертию конец!

А «Ключик золотой»!
А папа Карло! Боже!
А тот смешной момент (для нас он лучший
все же!),

Когда полено расколоть хотел старик,
А из полена вдруг — из самой сердцевины! —
Вдруг... — негодующий, пискливый и невинный:
«— Что ж вы деретесь-то?!» — летит скрипучий
крик...

Мы знали наперед, что это Буратино,
Что, собственно, с него начнется вся картина!
(Ведь мы второй сеанс уже сидим в кино.
На первом мы уже из зала хохотали,
А тут зашли с кулис...
Та сторона медали,
Все та ж... Но мы до слез хохочем
все равно!)

...В кино!
Где выпрыгнул из чурки Буратино!
Где ужас и восторг экран объединил!
Где был так страшен Петр, преследующий сына,
Где Сэм Уэллер так сестру мою пленил...

В кино!
Где Кторов (Сэм), так молод был когда-то,
Где смутно помнилось, что все мы «из Кронштадта»,
Где нас в корзину взял свою аэростат,
Где с песней звонкою мы лезем вверх по вантам,
На поиски плывем за капитаном Грантом
И в недрах острова откапываем клад!

Пойдем опять в кино!
Но разве повторится
То зачарованное — с дыркой! — полотно?
Тот запах фабрики и тайны?
Притвориться,
Что все по-прежнему, нам будет мудрено!

И чувство дива нам, боюсь, уже изменит:
Той трусости во мне, той храбрости — в тебе нет,
Ни авантюрного в лопатках холодка...
Уж не вернуть того нам клубного зефира,
Что между стульями разносит вести мира
И, взвившись, прячется в стропилах потолка,

Среди которых мрак, неповторимый тоже
(Как будто в них крутился космос детских лет!).
Той безбилетности и той цыплячьей дрожи,
Тех детских горестей, — смотри! — их больше нет...

Но что за прибыль нам, что есть билет в кармане?
Завклубом честного уж нам не страшен гнев:
Ведь ни по сцене, здесь, ни там — на заднем плане,
Уж не пройдет отец, ключами прозвенев.

Сестра!
Все, все прошло!

Но есть воспоминанья:
Та фабрика, тот клуб, и фильмов тех названья,
И... даже... иногда как будто звон ключей!
Напоминающий нам из далеких далей,
Как залезал песок нам в прорези сандалий
И как в лесу бежал по камушкам ручей...

Отец!
Нам не забыть ключи в руке твоей!
Не зная счастья, но гордый, без печали,
Ты жил в пылу труда и в бедности святой.

Чтоб золотом тоски мы в сердце начертали
Путь безупречный твой.

...И мы уехали.

Считаю справедливым
Свидетельствовать: наш фабричный клубный срок
Для нас остался сном. Сном, более счастливым,
Чем кто-нибудь из нас тогда предвидеть мог.

На землю пал туман. Река течет в тумане.
Припрятал звезды впрок небесный казначей.
В тумане
по сплошным волнам воспоминаний
Наш клуб, как пароход, плывет в тиши ночей.

...Татьяна хочет спать (не спать ей надоело!),
Она в очках и хлеб рассматривает свой...
Отец газету взял, у мамы «Консуэло»,
Брат к зайцу Афику всегда имеет дело.
Мы пьем в каюте чай, мы вместе — всей семьей!

Сестра и я вопрос возводим на вопросе:
Нас потрясает мир и все, кто в нем живет!
Туман сгущается...
Подбрось угля, Деросси!
Не останавливайся, память-пароход!

3

Память наша и в горестях счастлива.
Мать с отцом моим живы, почив.
Вижу фабрику с фильмами Чаплина,
Слышу поступь усталых ткачих...

Вижу лица родителей строгие,
Вижу клубный веселый народ...

Весны рассеянность великая,
Бродяжьей скуки благодать,
На многих скрипочках пиликающая,
Боюсь — принудит нас понять.

Что, после теплых дней вторжения,
Немыслим труд воображения,
Что зиму рано было гнать,

Что пламенем и снегом вымысла,
Пролившегося неспроста,
Ее цветущий образ вымылся;
Что белизна — не пустота.

Что в зимних дней однообразии
Все мысли крылись, все фантазии,
Как в белом цвете — все цвета.



III

ЦВЕТОК БАГУЛЬНИКА

Цветок багульника лиловатый
В банке с водой (и с наклейкой
«Томаты»)

Напоминает мне о затоне
И о дожде на лесистом склоне.

И о древесных грибов резине...
О дубе с мокрой отставшей корою,
В дикой подснежниковой низине
Срезанном молнией шаровою.

Корни багульника с пузырьками.
У банки доньшко — подзеркальник.
Вода зеленая, прутья буры,
Стекло волнисто — и вьет фигуры,

Напоминая в своих изломах
Улицы
 городов незнакомых,
И тот, запрятанный между часами,
Час, когда песни приходят сами.

Час, когда летние сумерки чисты,
На мостовых нарисованы рожи,
А ноги бродяг на мосту — волнисты,
На отраженья в реке похожи...

Зато и стройны, и так прямы сами
Их тени в качающейся воде!
О, время между часами!
Час, не учтенный нигде!

Как тот, седьмой, в часовом футляре,
Козленок, спрятавшийся от нас,
Или — в старинном воздушном шаре —
Накачка воздуха про запас, —
О, странный, нигде и никем не записанный
час!

Когда, вздыхая душисто-влажно
И рупорами сложив ладони,
Дали тебя окликали протяжно
Через багульник в банке с водой!

Когда луна под мостом ночевала,
А ветер тщетно искал привала,
Когда натура воображенью
Повиноваться повелевала.

...Цветок багульника лиловатый,
В банке с водой (и с наклейкой «Томаты») —
Ты сам не пахнешь,

но в аромате
Других растений — ты виноватый!
В часе, какой выпадал, неровен,
Не ты виновен!
Но ты замешан в цветенье смелом
Растений многих и мира — в целом!

Цветок багульника розоватый
На утре белом.

МОСТ НАД ЯНЦЗЫ

Над желтой Янцзы-цзян мост железнодорожный.
Какой гигант его воздвигнул неизвестный?
Ах! — поезд проскакал, издав свисток тревожный...
Но людям здесь — нельзя, — так редко свит
железный,

Платформы переплет, над видной в дырки бездной.
Но кто (почти ползком) тут брел, неосторожный?
Две девочки по той решетке невозможной
Над бешеной Янцзы держали путь совместный.

На мыловаренный завод глаза распялив,
Далеко забрели... Закат прохладный палев.
И вот, перебирая мост, идут как вяжут...

И снова поезд их, летя, прижал к перилам...
Одна из них двоих мне это перескажет:
То было с матерью моею в детстве милком.

МОЕ ОТНОШЕНИЕ

Навстречу мне — не помню, сколько раз, —
Вы подымали пару мрачных глаз,
Тяжелых и увесистых, как гири.
(В каком-то смысле вы штангистом были!)

Вы подымали «каверзный» вопрос:
Как отношусь я к нациям?
Всерьез.
Ревниво и равнодушно смалу
Я отношусь к Интернационалу.

Быть может, дело в том, что прадед мой
Был фельдшер корабельный, врач морской?
Он переслал мне в гибком кругозоре
Всеврачеванья мысль и образ моря.

И парусник прадедовских времен
В глазу моем с тех пор отображен.
Он подбирает почту. Но и тоже
Всех тонущих. Любого цвета кожи.

Я всех приветствую наперебой,
Кто мне не предназначил быть рабой.
Но тем, кто надо мной желает власти,
Я говорю не «здравствуйте», а «здрасте».

Когда я вижу: кто-то плут и псих,
Я не спешу обидеть малых сих
(Гм... Дюжих малых сих... Сих дюжих малых, —
Прожженных бестий и пройдох бывалых!).

Кто я, чтобы сурово их судить?
Я та, в чьем арсенале могут быть
(Уж я не говорю про недостатки!)
Пороков неосознанных десятки.

Но и мое терпенье не гранит!
Мне жизнелюбство пошляков — претит!
И с пылом протестантов убежденных
Я не терплю
Повелевать рожденных!

Как?! Вечно пальму первенства искать,
А дивной пальмы равенства — не знать?!
Не понимать речения блаженства
С старинным ударением: «Равенство»?!

По счастью, тем, кто трудится, плевать
На всех «родившихся повелевать»!
Там, где они приказывать рождаются,
Не всяк родился им повиноваться!

И... путается их прожектов нить...
Как с миром быть? Пригреть или спалить?
Они еще и сами не решили,
Ан вознестись над нами поспешили!

Хоть не созрел еще для взлетов тот,
Кто злобствует, ворует или жлет;

Смешно, когда из-под небесной тоги
Обычные выглядывают ноги!

Людская серость, впрочем, всех лютей
Престолов жаждет. Скипетр снится ей,
Гром, крылья, цепи, кровь, погранные братьев...
(Все то, чего нельзя желать, *не спятив!*)

Людская серость, впрочем, всех лютей
Стремится спятив. Допинг нужен ей.
И факелам тем пуше дурни рады,
Чем суше в зной пороховые склады.

Таким — великовозрастным — нельзя
«Детишкам» спички доверять! Не зря
Их жестких глаз прожилки кровавые
Перетекают в зарева степные!

И — «мальчики кровавые в глазах»!
Но то, что Годунову было — страх,
Отчаянье, раскаянье, прозренья,
Для них... — источник удовлетворенья!

Чего Борис себе простить не смог —
Для них — тренаж! Гимнастика навпрок.
Что прошлым для него ужасным стало,
Того им и для будущего мало!

Им жалость непонятна. Трус и смерд
В их представленье тот, кто милосерд!
И вы хотите, чтоб вандалы эти
Людьми считались первыми на свете?!

Кто сам себя избрал — не суть мудрен,
Хоть и ловкач! Расизмы всех времен
С бордюрчиком романтики по краю
Я «бабьим экстремизмом» называю.

Зачем за бесноватеньких душой
Вступаться вам? Эх, на крови чужой
Цветет «прекрасный юноша» Нарцисс-то!..

...Что с вами?!
Я обидела нациста?

Но зверских кланов гнусному отцу,
Нацизму оскорбленность не к лицу,
Потерпит! Но скажите, разве было,
Чтоб я *национальность* оскорбила?

Когда ж смолкаю, все сказав, —
Зачем у собеседника в глазах...
Нет, не протест, не вызов, не обида:
Нож и огонь! Гроза и Немезида!

Зачем — в конце столь, в общем, здравых слов —
Он... Ба! — да он убить меня готов!
В припадке яростного, как пиранья,
«Национального самосознания»?!

ВЕЩИ В ДОМЕ

Поэма

Люблю дома, где вещи — не имущество...
«Душа вещей», 1966

1

В кабинете отца рабочем,
В этой
Вызывающей трепет у нас, у детей,
столице,

Дома,
где скрадывает разогнавшийся шаг нога, —
две львицы;
Две стерегущие библиотеку
Мраморные львицы,
Маленькие, но тяжеленные,
Как два утюга!

Мрамор их матовый, сахаристый
(благо — без полировки!
Ведь полировка бы им придавала
не слишком приятной
сноровки!).

На приседающих лапах, ползком —
две львицы...
Их уши прижаты к спине, точно кепки
стесняющихся хулиганов,
Пришлепнутые
назад козырьком.
Они приползли к нам
и взгромоздились
на книги,
зализывать раны.
Они перешли к нам от дяди...
Как быть? —
Вздыхай не вздыхай...
От Тихого океана пришли
для временной передышки...
Дядя мой был человеком суровой судьбы,
добряком
И автором маленькой, но драгоценной книжки
Про государство Бохай*.

* Докитайская империя.

Бабочки белые вьются кругом
искр и угара...
На зелени луга весною
Мать в белом платье стоит
с распалющимся утюгом, —
Женщина с преисподней переносною!

Итак,
Когда
Раскаленную эту махину
Раскачивали у нас на глазах
вперед и назад;

Итак,
Когда
Из его окошек-иллюминаторов
(сколько угару!)
Всепожигающий! — вдруг вылетал
кристалл несносного жару, —
Мне вспомнились тогда всевозможные
песни из жизни морской,
Как-то: «...спалив бригантину султана»,
«...сказал кочегар кочегару»
И знаменитое «й-о-хо-хо!»,
Звучащее страстной тоской...

...Простой щиток-овал
На серебристом железе
выбит.
(О, сколь врезаются в память
образы в детстве коротком!)
кто-то...

Как женщина, если судить по одежде,
Но слишком суровый и горбоносый,
с выдвинутым подбородком.

И венец!
Не только на лбу у него,

Но и всю окружность овала
Дуба и лавра листва оплела,
Словно зачаровала...
— Кто это, мама?!
— Данте.
Поэт, великий доньне.
Когда он шел по чужбине
(Церковь его отселила),
Толпа шепталась, что пламя ада
ему лицо опалило...

Молчу, не зная наверно,
Что это: честь или скверна,
Если — ожоги ада!
Но замкнутому выраженью лица его странного
я почему-то рада!
И к ночи, к ночи, когда лихорадочно мысли теснились,
И тучи, сходясь, облагали данью слабеющий
небосклон,
Я думала: как же он был одинок!
И как его все сторонились!
И как с болтливыми теми людьми
не хотел разговаривать он.

...Тяжелый наш быт
вперемешку
С изысканным! Словно в насмешку.
Так Золушка держит хрустальную туфельку
черной от сажи рукой...

2

Ведь мы фактически семья художников.
Всегда художников! Умеет мать
О шумных осенях, о серых дождиках,
О листьях радужных стихи слагать.

А я ручаюсь вам всех пасек пчелами,
Всех сопок ландышевыми подолами,
Рядами тутовыми, лесами буковыми,
Что у художников большими буквами
На лбу написано: «Не унывать!»

Чья речь, горячая, как пламя кратера,
И для стяжателя страшна и для лжеца?
Дар агитатора, талант оратора
Есть у отца!

Он вел в Хабаровске «Живой журнал»,
На «Краснознаменной» — клеймил и гнал
Мздоимцев-циников, мещан-ветошников...
(Ведь мы фактически семья художников!)
Он знал печаль — уныния не знал.

Ах, безоглядные, головоломные
Порой выкидывая номера,
Какие странные, какие темные
Мечты рассказывает мне сестра!

Огнеземельские или эдемские?
Опасно-взрослые ль? Бесстрашно-детские?
Но этот блеск на них — не мишура.
Ведь мы фактически семья художников!
И тот фитиль в разрезанных картошинках
В те фантастические вечера
Светил, сиял нам — разве не вчера?!

У зайца Афти зернами гранатовыми
Глаза раскосые блестят в углу...
Я знаю первые игрушки братовы,
Рисунки брата детские люблю:

«Извозчик в бурю». Кляча... (Н-но, постылая!)
«Пират-курильщик». (Сумрачный графит.)

Печальных и страшных; ни в поле, за каменной
школой,
Ни в дáли, в лесу, в междуцарствии мха и хвощей!!!
Наш дом не стоит, он — летит! В крайнем случае —
едет.

На странных
Колесах незримых скрипя и качаясь, прохожего тайной
дразня...

В его дребезжаньях стеклянных,
Во вздохах его деревянных,
В шуршаньях его непрерывных мне чудилась
гномов возня!

Летит он, плывет он и едет... (Порукой — примета,
Что виды в окошке все время иные, все новые, ночью
и днем...)

Скользя кругозорами света...

...И нет уж того кабинета

(Куда мы с сестрою когда-то прокрались на цыпочках)
в нем.

Не так ли, ступени теряя,

Уносится к звездам ракета?

Крыльцо отломилось, — другое сложилось...

Пыль вихрем... Когда отдохнем?!

...Дом, бедный всегда.

В коридоре, на лестницах — тесно,

Никоим стараньем оттуда не выметешь
мглы!

Но дети довольны: жить в доме на снос
интересно!

Мы верим геометрии,

Но только при безветрии!

А где еще встретишь такие кривые углы?

Углы кораблей!

Без углов!

И остры, и круглы...

Дом-шхуна, лети!

Заплескав, паруса на закате,

Попутный румянец прияв, удирают
на всех скоростях
От капера — в тень...
Только верный выюнок
за окном на шпагате,
Как махонький юнга на тонких летучих снастях,
Все вглядывается в дали,
Настороженно привстав...
А скоро ли крикнет: «Земля!»?
Скоро ль ясная будущность наша?
Эй, зорче в окрестности, юнга-выюнок, погляди!
На сушу взгляни с тенью ветра, на сушу
с морщиной морского пейзажа...
....Фанерка трепещет,
Стекло дребезжит...
Впереди —
Неведомое...

4

...Нельзя, нельзя не склониться
Над куперовской страницей
В том доме ветров и пустых упований!
Не так же ли по временам
Потерю несет за потерей
Фургон покорителей прерий?
Ах! Прерии долго еще не заметят
Своей покоренности нам!
И ночь. И ночь, и дорога.
Мерцание по сторонам.
И вот уж индейцев отряды
Повыскачили из засады:
Их больше, чем надо!
Разводами радуг
расписана армия вся!
Бесчисленны иглы у хвои,

Войска их — бесчисленной вдвое...

Срываются с воем с лесистых холмов, берег воплями
весь оглася...

Мужи представительные пищат, словно жалуясь,
точно прося...

Могущие воины верещат, ненавистников понося.

Их крик — подражание посвисту стрел, изнывающих
заунывно и монотонно...

И тускло, и грозно глядит тускарора, вскочив
на подножку фургона,

Но вдруг отступает, прынув во мрак,
назад,
и, топор занеся,

Таёт...

...А ничего не случилось!

Это просто — человек читает,

На локте припав...

Не то на лесистом склоне,

Не то в своем доме-фургоне,

Когда через легкие занавески дверей

Светает...

...Вещи в доме-фургоне?

Тут много

Таких вещей — не вещей, как рисунок,
цветок,

перо или книга

Славного Купера о могиканах последних;

Вроде бы вещь,

А без вещевого ига,

Почти без веса!

Вещь дома и леса.

Колблется вес ее невесомый

И от любого сдвига

И колеса и спицы,

Слышных сквозь половицы...

...Здравствуй!

Тебя ли я вижу снова,

Мир ярко-мнимый!

Недостижимый, как прежде,

Как прежде, незаменимый!

Здравствуй и снова

прощай, работа!

Встретимся на горизонте.

Вы ж, буйные вихри, моих неразобранных

Рукописей не троньте!

Листы не треплите, не уносите

их в ночь за окно фургона,

Где ирокезские стрелы

насвистывают впотьмах полусонно,

Летя, и вися, как густая роса.

Хоть и мыслям не страшно усталым

Под тучами стрел изнывающих спать

Как дети под одеялом;

Но стихли гуронские стрелы: обиделись,

Знать, на разрывы фугаски!

Я поражаюсь,

как долго обыденность

Сопrotивляется сказке!

Жду дня, жду часа,

когда хоть слово,

Хоть букву я в ней

продвину!

Долго ли сказке моей оставаться

Вещью — наполовину?!

5

«Самоуничужение, — говорят, —
паче гордости».

А я здесь, кажется, —

через картины лишений

и всякого бытокрушения —

Клеветнически-черное
на сворованно-золотом.

И на золоте том
надпись кругом;

«Вначале злоупотребление,
Дело — потом».

Не знаю почему,
но так и вижу я;

На «лице» у «Веселого Роджера»
Выражение дерзко-умильное;
Отраженье гнуснейшее рожи его,
Повторенье в волнах флага черного,
Точно облако, адски-чернильное,
Растекающееся — каракатицы, —
Без утечки в веках

утекающее,

«Роджера» черное облако...

И — только представить! —

И всему этому,

Еще в заповедных преданьях,

Еще в колыбелях — отпетому

Противопоставить

всего лишь...

Гордость художника!

Вообразить и представить;

Только

Гордость художника!

И ничего более!

(Кроме еще, разумеется, каторжного труда.)

Да разве же это не самая

смирная скромность
художника?

Ты,

защитная гордость

художника!

Не расставайся же с ним

никогда.

Зачем, филистер важный,
запутанности диво,
За скромностью поэтов
ты смотришь так ревниво?
С чего твой пафос взят?
Ужель спасенье света
Не в доблести бесстрашной,
а... в скромности поэта?

Зачем тебе так нужно, чтоб мастер
унижался?
Чтоб серой мышью жался? Плохой
овцой держался?
Чтоб сам свои созданыя он попирал
для смеха
И рабски похвалялся беспомощностью
цеха?

Не изводи занудством художника!
Он занят.
(Его твои манеры,
а не сарказмы ранят!)
На кой твои сомненья в его делах
и силах
Тому, кто сыт своими? Кто знал
и победил их?!

Кто кротостью гордится,
кто — хитростью напрасной,
Кто — наглостью бесстыдной
(как дерзостью прекрасной!).
Кто — ложью в гибель ближним
(как ложью во спасенье!).
Кто — злобностью (под видом
всегда прямого мненья!).
За творческое рвенье
прощенья не просящий,

Бизг бубенцов высок...
Песчинки в глаза впиваются,
Волы — то и знай — ложатся
и зарываются
Мордами в жгучий песок,
Обманывая ураган...
Плачущий голосок
Радости обрывается
Там, где вьюном завиваются
Вихри по берегам...
Даже спастись — времени нет!
А время — чистое золото!
И потому его у нас нет.
И тяжко волы встают,
И лбы у них грозно взъерошены;
К ним роза ветров приколота!
Придуманные погонщики
Напев настоящий поют...
И сказку мою теснит уже
Роман — такой же упрямый,
И песня к моим героям
слетает в конце концов...
...Индеец был самый зоркий,
Старик — справедливый самый,
Диего же из Сантьяго
Способнее всех певцов,

Ах, как же это скверно,
как плохо,

Если разрывается сердце!
Обошел бы полсвета,
Только бы найти исцеленье!
От судьбы претерпел немало;
Ах, напасти ее

так нежданны!
Но когда я предвидел удары —
Мне все равно было больно!..

...И дальше — песня,
и дальше — о том, какое
Горе, когда «скупые мужские» слезы —
текут рекою!..
И снова песня: «Куда уйду я, куда уеду?
На свет Озер, Озер Великих
По дремлющему следу...»

...И в прошлом осталась
повозка
Для движущихся мистерий.
Истерлась о звезды ракета,
Корабль погрузился на дно...
Но все еще
дом у искателей счастья
Похож на фургон среди прерий.
И все еще
нет нам в пути остановки,
А едем мы очень давно...

Лишь красная роза вращается
Между глазами воловьими;
То розой ветров покажется,
То розою на ветру...

В ее лепестках записана
История с предисловьями,
А если они осыплются,
То как же я их соберу?

О, роза неуспокоенных,
ветром благоухающая!
Песенный, неотцветающий цвет,
Неопадающий плод,
Неистребимая роза ветров, —
единственная неувядающая,
Единственная, которую
сам ветер не оборвет!

О, в дальних полях, где цветет
гаолян,
Где поезд бежит, стариной обуян,
Там тени героев витают!
Там сны моих снов обитают.

Но, шаг задержав на отроге крутом
Отрочества, — думала я не о том.
Не сразу заметила даже,
когда из-за взгорья
В лицо понеслись великанские тени
Приморья...

Мне грезились рощи, где жил
Робин Гуд,
Где тени дубов перед бурей бегут
Туда, где дорога венцами
Взбирается к замку, и к башне с большими
зубцами,

Виясь,
Как назло,
Мне в руки ползло
Все то, что для детства сильней при закате
сверкало,
От стран Восходящего Солнца
сильней отвлекало,
От родины предков на долгие дни увело...

Дуй, ветер прародины!
Дай мне намек,
Что крайние точки сойдутся в судьбе постепенно,
Что преданность рыцарской сказке
совсем не измена
Тебе, героический,
Рыцарский
Дальний Восток!

Кто и что влияет на поэта?
 Циник! Ты-то как прознал про это?
 Ой, всеведущ! Попролам зевота
 Рвет тебя от скуки знания света...
 Все пути певца тебе известны!
 Или... вместе вы пасли кого-то?

Или ты измерил те же бездны?
 Или ты знаком с его жилищем?
 Или у него всю жизнь, любезный,
 Ты сидел, как нож, за голенищем?

Иль тебя, чье так враждебно жало,
 Звали в дом? Как друга, приближали?
 (Впрочем, лирик так терпим!

Бывало,
 Что и змей за пазухой держали!
 Это тоже сколько-то влияло...)

Что ж еще?
 Должно быть, вся природа!
 То, что в своде неба. То, что свода
 Дальше, выше... (Трудно без нажима
 Подчеркнуть, как даль непостижима!)

Что влияло?
 Зримо и незримо?

Пропатьсть есть неназванного, кроме
 Названного...

Молнии в изломе,
 Песни, звезды, пчелы...
 Все, что мимо

Дома; все, что к дому...
Вещи в доме...
Да, конечно, даже вещи в доме!

9

Две львицы,
Две стерегущие библиотеку
Мраморные львицы,
Маленькие, но тяжелые,
на припадающих лапах, ползком,
От Тихого океана
Для временной передышки
Пришли в наш дом.

Мой дядя, их прежний хозяин,
Добрый был и автор «Бохая».
Работающим
у лампы настольной
Его представляю, вздыхая:
Две львицы тогда гляделись в его страницы
И с той поры
вечерами
Напоминали о нем.

Утюг.
Которого раскаленность,
Увесистость,
Неприступность
И многих других грозящих, гнетущих,
пугающих качеств купность
Рискованную хозяйку,
Детей любознательных стайку
Захватывала надолго,
Притягивала всецело...

Зноем своим
Он навевал мне прохладу,
Образы моря в памяти множил моей,
Песни напоминая
Многие кряду:
«Эгейские волны шумят...»,
«Й-о-хо-хо!»,
«Э-гей!»...

Фыркнет, бывало, углем —
да и то как рублем
подарит!
Старое желтоватое кружево вспенит
доподлинным кораблем!..

Простой щиток-овал
На серебристом железе
выбит.
(О, сколь врезаются в память
образы в детстве коротком!)
Кто-то...
Как женщина, если судить по одежде,
Но слишком суровый...

И венец!
Не только на лбу у него,
Но и всю окружность овала
Дуба и лавра листва оплела,
словно зачаровала...

— Кто это, мама?
— Данте, поэт великий.
Да... А ведь он действительно был
в аду!..

...И все недоконченными с тех пор
мне кажутся блики
Листьев чеканных, когда дубравой иду.

И эта страна прекрасная —
Царство Воспоминания!
И охраняют ее, обходя ее с разных сторон,
Нетопырей распугивая блеском своих корон,
Сотней кивков приветствуя каждое в ней
начинание,
Радужных эльфов почтенный король — Оберон
И королева Титания.

ПЕСНЬ О ДАЛЕКОЙ ДАЛИ

Где-то
в далеких краях
Есть одинокий маяк.
Старенький сторож на нем обитает,
Серые волны, скучая, считает.
Знаю: встречает, потом — провожает
Все, уходящие вдаль корабли.

Знаю: пучина морей
Скрыла троих сыновей.
Не оттого ли с тех пор
и доньше
Старенький сторож перечит пучине?

Пальцем грозит океанской пустыне,
Бурю встречая, трясет головой...

Но временами маяк
Весь расцветает, как мак!
Лодка подходит к нему с провиантом.
Старенький сторож нарядится франтом! —
Шапку с коричневым кожаным бантом

Держит рукой, чтобы ветер не снес...

Все же в конце-то концов
Лодка уносит гребцов.

Не оттого ли с такою тревогой
Вдруг просыпаюсь я ночью глубокой?

Только помыслишь о дали далекой, —
Кругом от грусти идет голова...

ПОДМАСТЕРЬЕ

Мне вдруг подумалось: — А хорошо бы
Стать подмастерьем!
Выше счастья нет,
Чем гнаться с тонкой кисточкой учебы
За смелой кистью мастера вослед!
Все притязанья дерзкие забросить!
Коня поворотив немного вспять,
Художника возвышенную просесть,
Как снег на Альпах, снизу созерцать!

Сойти в низину первого старанья,
В лог замыслов, курящихся едва...
Стать мальчиком для красок растиранья!
(Не то слуга, не то — детеныш льва!)
Всегда в долине! От дождя и ветра
Быть огражденным горною грядой.

(Бог упаси, чтобы в картину мэтра
Вписал деталь Мурильо молодой!)

Быть подмастерьем! Значит, лишь попутным
Цветеньем красок блузу пропитать.
Дом, где живешь, тем более уютным,
Чем меньше он исследован, считать.
И в этом славном, тайны полном доме,
В каморке мгливой до прихода сна
Беспечно слушать шум дождя в соломе,
А за стеной — беседы допоздна.

За той стеной (на ней — подобьем пятен —
Картины: «Роща» и «Ловцы сардин»)
Ты слов не разбираешь. Но приятен
Их самый звук! Ты в мире не один!
Спи. А зарей... не торопись, пожалуй,
Призванья жар на люди выносить:
Те, кто хранил жаровни уголь малый,
Большое пламя кинутся гасить.

Ей-богу — хорошо быть подмастерьем!
Промасленные кисти полоскать,
Потерянные тюбики искать,
Пушинки прививая к нежным перьям
На шапочках натурщиков...

Но что я? —

Дверь настезь. Ночь как прорва.

Снег пустынь.

Пути назад обрублены. Аминь!

Художников, не знающих покоя,
Последняя надежда, не покинь!

ЦВЕТОК

Тюльпан,
Как пламя прямое.
Без дыма. Спящее стоя.
С чуть слышным запахом свежести.

Слетаются тихо на свет шести
Его лепестков из шелка,
Богатых, как плащ Норфолка,
Видений старинных оравы;

На лицах от сучьев ссадинки...
Все в бархате, скачут всадники
Среди королевской дубравы.

Тюльпан,
Как пламя прямое.
Без дыма. Спящее стоя.

Вижу в нем глубокое и веское
Совпадение тени и огня.

Будто сплю за красной занавескою
В середине солнечного дня.

ЖАН-ПОЛЬ

...Эта книжка — «Зибенкез» —
Мне наперсницей была;
И достойна, и мила,
За руку меня вела

В тот имперский городок,
Что в окне свечу зажег,
Дабы свет ее лучей
На брусчатник перетек.

В том имперском городке
Тощий малый в парике
Держит ножницы в руке.

Он умеет, так сказать,
Отвлеченность осязать, —
Силуэты вырезать! —

Этим теням без лица
Позволяя без конца
Из-под ножниц выползать;

Из раскрытого окна
Этой длинной цепи сна
Бесконечно выползть,

Дабы, площадь обогнув
Да в проулок завернув,

За далекими домами

Исчезать...

Благородный Зибенкез!
Вас мой давний интерес
Превозносит до небес! —

Не беда, что, например,
Как за мышью фокстерьер,
Тень бежит наперерез

Человечкам вырезным,
Вереницам их чудным...
Не присматривайтесь к ним, —
Даже вам их не догнать!

За углом оторвались,
Быстрой плотью облеклись —
И пустились — в ночь — бежать...

Так от ножниц ваших
вдруг
Отцепился полон дом
И господ, и хитрых слуг...

И ночных ворот проем,
И карета с фонарем —
Тоже дело ваших рук!

И Леннета Ленорман,
И Лейбгебер, — дивный план
Начертавший на песке! —

Движущийся налегке
С треуголкой в руке,
Зибенкеза лучший гость,
Чью приветливую трость
Вот уж — слышу вдалеке...

Превосходный Зибенкез,
Не являйся мне опять!
Не спеши напоминать
О печальных временах!

Об унылых временах,
Чей невольный след исчез,
Не изволь напоминать,
Зибенкез!

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Я Зайчик Солнечный, спующий
По занавескам в тишине,
Живой, по-заячьи жующий
Цветы обоев на стене.

Рождаюсь я — где вам угодно:
В росинке, в трещинах коры,
В листве, вздыхающей свободно,
В окошке песьей конуры,

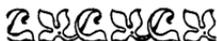
В настороженном песьем ухе,
В слоистом отблеске стекла,
В цветном крыле той звучной мухи,
Что ночь за рамой провела,

А все равно не остановят
И не догонят ничем!

Я и в самом ружейном дуле
Могу отплясывать, скользя!
Могу присесть на кончик пули,
Но застрелить меня — нельзя!

Я Зайчик вечный, вездесущий,
Я солнца отпрыск золотой,
Свое бессмертие несущий
С недостижимой простотой.

И если зимними ветрами
Тебя невзгоды обдадут,
Я появлюсь в оконной раме:
— Я Зайчик Солнечный!
Я тут!..





СОДЕРЖАНИЕ

I

Бобры	4
Кувшинка	5
Хвощ	6
Цветы	6
Осенняя жара	8
Плакальщица	8
Долина реки	9
Сороковые годы	11
Круги чтения	13
Песенка про почтальона	14
Что подсказал иней...	15

II

Тайна нравов	18
Песнь о жемчуге	21
Сонеты Лэму	24
Ключи от клуба (поэма)	27
«Зима сверкает ослепительно...»	65

III

Цветок багульника	68
Мост над Янцзы	69
Мое отношение	70
Вещи в доме (поэма)	73
Песнь о далекой дали	101
Подмастерье	102
Цветок	103
Жан-Поль	104
Солнечный Зайчик	106

Матвеева Н. Н.

М33 Страна прибоя. — М.: Мол. гвардия, 1983. —
110 с., илл.

50 к. 75 000 экз.

«Дальний Восток, родина моего отца, деда и прадеда, край, большая история которого неразрывно связана с малыми историями многих семей и фамилий, и моей фамилией в том числе. А еще — военное время, детство, природа» — так сформулировала известная поэтесса содержание своей книги.

М 4702010200—198 218—83
078(02)—83

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 3389

Новелла Николаевна Матвеева

СТРАНА ПРИВОЯ

Редактор Ген. Красников

Художник Ю. Косачевский

Художественный редактор С. Сахарова

Технический редактор Н. Балашова

Корректоры Т. Крысанова, Г. Василёва

Сдано в набор 04.05 83 Подписано в печать 03.08.83. А05264.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Банниковская». Печать высокая. Усл. печ. л. 4,9. Уч.-изд.
л. 4,7. Тираж 75 000 экз. Цена 50 коп. Заказ 551.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суццевская, 21.



Имя Новеллы Матвеевой широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ее книги переведены на многие языки, ее стихи и песни знают и любят почитатели серьезной поэзии.

Н. Матвеева — автор шести поэтических сборников. Уже первые ее книги стихов «Лирика», «Кораблик», «Избранная лирика» — получили высокую оценку таких мастеров художественного слова, как К. Чуковский, С. Маршак... Лирику Новеллы Матвеевой можно назвать рыцарски-щедрой, потому что она не ворчливо-умудренная, а детски мудрая и всегда на стороне справедливого.

50 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

